Глава IV

Клюшников, Кетчер и Бакунин и вообще их московский кружок.

* * *

Глава V

Грановский и московский кружок.

Теперь, оставляя на время хронологический порядок, которого я насколько мог придерживался в моих «Воспоминаниях», я хочу остановиться на Грановском и по этому поводу поговорить вообще о московском кружке. Я не имею претензии представить полный образ этого человека, рассмотреть со всех сторон эту замечательную личность – указывать на значение Грановского как профессора, разбирать его исторические труды и т. д. Я очень хорошо знаю, что это мне не по силам. Я просто и откровенно выскажу о нем то, что знаю. Если в этом слабом очерке найдется хоть одна незамеченная и новая черта, которая пригодится для его будущей биографии, – я буду доволен и этим…

Когда я возвратился из Казани в Москву, Грановский незадолго до меня приехал в Москву из-за границы, где он пробыл три года (с 1836—1839). Он тотчас же сошелся с Белинским и с его друзьями. Они были близки ему уже по Станкевичу, с которым он познакомился за границей к которому привязался всей силой души.

Первая новость, встретившая меня в кружке Белинского, это был приезд Грановского…

– Нашего полку прибыло, – сказал мне Белинский: – Грановский здесь. Какой гуманный, симпатичный человек! Я почти не встречал еще в жизни человека, кроме Станкевича, который бы с первой минуты так располагал к себе, как он… Недаром Станкевич так любил его и так горячо писал нам об нем. Действительно, это человек с избранной натурой…

Люди самых противуположных мнений сходились в мнении о Грановском. На вечере у Мельгунова – Шевырев, Хомяков и Павлов отзывались об нем почти точно так же, как Белинский.

Приезд его вообще произвел большой эффект в московских ученых и литературных кружках.

– Я сказал Грановскому, что вы здесь, – сказал мне Белинский: – он желает с вами познакомиться и хочет зайти к вам. Предупредите-ко его.

Любопытство мое насчет Грановского было возбуждено сильно, и я на другой же день отправился к нему, не застал его дома и оставил карточку.

Он жил тогда на казенной квартире, в доме бывшего Московского благородного пансиона, на Тверской.

Грановский отплатил мне визит в тот же день. Я жил наискосок от него – в гостинице Копа…

Грановскому было тогда лет около тридцати.

Черты лица его были крупны и неправильны: нос и губы толстые – лицо это не имело той вульгарной, внешней красоты, которая поражает с первого раза; но его большие, глубокие, темные глаза с меланхолическим оттенком, с надвинутыми густыми и широкими бровями, его открытый лоб, почти черные волосы, зачесанные назад и доходившие до плеч, его грустная, добродушная, кроткая улыбка – все это вместе поражало той внутренней красотой, в которую

чем более вглядываешься, тем более она кажется привлекательною… В его движениях, взглядах, голосе, манере говорить (он несколько пришепетывал, что нисколько не портило его) было что-то неотразимо симпатичное. Все женщины были от него в восторге; все мужчины, даже враждебные его убеждениям, не могли не питать к нему личной симпатии.

Всегда несколько робевший перед авторитетами, я сначала смутился было перед новым возникавшим авторитетом молодого профессора, но он так мило и просто обошелся со мною, что после первых объяснений я почувствовал себя совершенно легко и свободно.

Предметом нашего разговора был наш общий знакомый, приятель его и Станкевича, Я. М. Неверов.

После этого я встречался с Грановским на вечерах у Боткина.

Грановский, впрочем, не часто посещал в это время кружок Белинского. Нет сомнения, что он симпатизировал людям, но не мог никак симпатизировать их тогдашним убеждениям. Грановского интересовали более человеческие дела, чем философские отвлечения.

Он, как прекрасно выразился кто-то, «думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду». С его светлым воззрением на современную гражданственность, основанным на историческом знании и изучении, те убеждения, до каких дошли Бакунин и Белинский, опираясь на отвлеченные, философские толкования, должны были казаться ему дикими…

Грановский, впрочем, не высказывался. Он, вероятно, угадывал, что убеждения эти – только минутное заблуждение. Он видел экзальтацию Белинского… и не хотел даже слегка касаться его больной стороны.

К тому же Грановский, мягкий по своей натуре, наделенный большим тактом в обращении с людьми, любящий и снисходительный, понимал, может быть, что ему не совсем выгодно, – несмотря на то, что истина была на его стороне, – вступать в споры с таким яростным бойцом, каков был Белинский, и с таким несокрушимым диалектиком, каков был Бакунин.

Таким образом, Грановский расстался с Белинским, уезжавшим в Петербург, без всяких объяснений. Их короткие, дружеские отношения начались уже после, когда кружок Белинского слился с кружком Искандера.

Месяца через три после отъезда Белинского в Петербург Грановский познакомился с Искандером в проезд сего последнего из Владимира в Петербург.

«Мельком видел я его тогда, – говорит Искандер, – и только увез с собой во Владимир благородный образ и основанную на нем веру в него как в будущего близкого человека. Предчувствие мое не обмануло меня. Через два года (в 1842 г.), когда я побывал в Петербурге и, второй раз сосланный, возвращался на житье в Москву, мы сблизились тесно и глубоко».

«Он был, – продолжает Искандер, – звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись. Грановский и Белинский принадлежат к самим светлым и замечательным личностям нашего круга, несмотря на то, что в них было много непохожего».

Нельзя лучше характеризовать Грановского, как характеризует его Искандер.

«Грановский, – говорит он, – напоминает мне ряд задумчиво-покойных проповедников времен реформации; не тех бурных, грозных, которые в гневе своем чувствуют вполне свою жизнь, как Лютер; а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей.

Таков был сам Колиньи, лучшие из жирондистов; и действительно, Грановский по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям – скорее был бы гугенот и жирондист, нежели анабаптист или монтаньяр»…

Грановский и Искандер привязались друг к другу сильно, несмотря на несходство своих характеров и отчасти воззрений, как оказалось впоследствии. Грановский с своей кроткой и мягкой натурой робко отступал перед суровой логикой Искандера и перед тем, что Искандер называл «бесстрастной объективностию природы»… Искандер шел вперед грудью, напролом, не отступая ни перед чем, не пугаясь никаких выводов, как бы они ни были безотрадны. Отсюда впоследствии должна была произойти между ними неизбежная размолвка.

Но как глубока была привязанность Грановского к Искандеру и Огареву доказывают следующие строки из письма его к Искандеру через два года после отъезда Искандера за границу (в 1849 г.):

«На дружбу мою к вам двум ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 г. и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая, повидимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к душе моей такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса…»

В первые годы знакомства Грановского с Искандером между ними существовала, впрочем, полнейшая гармония…. В политических убеждениях они всегда сходились; до глубоких же внутренних вопросов касались или слегка, или вовсе не касались; к тому же Искандер в то время еще не доходил до беспощадной крайности своих воззрений и до того желчного сарказма, который проявился у него потом…

…Искандер глубоко уважал Белинского, видел, каким мощным полемическим талантом владеет он, сколько энергии в душе его, и скорбел, что эта энергия растрачивается на поддержку отживающих идей… В статье моей о Белинском я говорил о первом посещении Белинского Искандером в январе 1840 года… Объяснение между ними последовало тотчас, иначе и быть не могло. Искандер высказал Белинскому, что он идет по ложной и опасной дороге и бог знает до чего может дойти по ней… Он даже прямо высказал ему – до чего… Белинский был уязвлен глубоко, он почувствовал, что в жестких словах Искандера было много правды, но еще упорно отстаивал свой образ мыслей, несколько успокаивая себя тем, что взгляды Искандера узки, что его миросозерцание не просветлено гегелевской философией и т. д. Он был видимо поколеблен.

После отъезда Бакунина в Берлин и сближения с Искандером Белинский впадает в тоску и апатию – предвестницу внутреннего переворота. Он борется с собою до конца 1841 года, но во второй приезд Искандера в Петербург, в 1842 году, он крепко жмет ему руку, обнимает его и, улыбаясь, говорит ему: «ты победил, галилеянин!»

С этой минуты Белинский воскресает духом, он дышит легче и свободнее, он уж не насилует своей революционной натуры. Он делается ожесточенным, неумолимым противником тех идей, которые за год перед тем проповедывал с такою горячностию и искренностию. Он употребляет все свои способности и силы для искупления этих прошлых заблуждений, о которых он вспоминает с болью и негодованием. С этой минуты он совершенно сходится с Искандером, Грановским и другими…

Кружок расширяется и приобретает большее значение и силу… К нему присоединяются, кроме молодых профессоров Московского университета, вернувшихся из-за границы (Каткова, Редкина и других), все передовые тогдашние люди – Белинский, Искандер, Боткин, Огарев, Галахов, Евгений Корш и многие другие…

…Е. Корш, с которым Грановский до отъезда своего за границу дружно работал вместе для «Библиотеки для чтения» Сенковского, около этого времени поселяется в Москве. С Коршем до кончины своей Грановский остается в самых близких отношениях…

Е. Корш, уступавший многим относительно литературной деятельности, был одним из самых приятных собеседников кружка. Его отсутствие чувствовалось даже при Искандере, который, по выражению Корша, всегда заливался и звонил, как колокольчик. В этом серебряном звоне было столько силы, блеска, ума, иронии, знаний, что он никогда не мог надоесть. Его можно было слушать бесконечно и заслушиваться. Он с неподражаемою ловкостию умел переходить от шутки к делу. Его блестящая речь играла и искрилась, как шампанское, которое он так любил… Корш, с своим неглубоким, хотя метким умом, быстро подмечал смешные стороны всех друзей, даже не исключая Грановского и Искандера, и очень едко острил над всеми, еще пришпиливая, по чьему-то удачному выражению, свои остроты заиканьем, которое придавало большую оригинальность его разговору, его замечаниям и шуточкам.

Присутствие Грановского все сливало в какую-то гармонию, на все накладывало тонкий, поэтический колорит, смягчало резкости, примиряло диссонансы и даже смиряло Кетчера, которого перекричать и смирить было трудно…

Приятели собирались часто то у Боткина, то у Кетчера, то у Искандера (всего чаще) и у Грановского, который только что женился. Искандер сделал удивительно тонкую и меткую характеристику домашнего быта Грановского, и я позволю себе снова прибегнуть к нему.

«Жена его (Грановского), – говорит он, – была очень молода и еще не совсем сложилась; в ней еще был тот особенный элемент отроческой нестройности, даже апатии, которая нередко встречается у молодых девушек с белокурыми волосами и особенно германского происхождения. Эти натуры, часто даровитые и сильные, поздно просыпаются и долго не могут притти в себя. Толчок, заставивший молодую девушку проснуться, был так нежен и так лишен боли и борьбы, пришел так рано, что она едва заметила его. Кровь ее продолжала медленно и покойно переливаться по ее сердцу».

«Любовь Грановского к ней была тихая, кроткая, больше глубокая и нежная, чем страстная. Что-то спокойное, трогательно-тихое царило в их молодом доме. Душе было хорошо видеть иной раз возле Грановского, поглощенного своими занятиями, его высокую, гнущуюся, как ветка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. Я и тут, глядя на них, думал о тех ясных и целомудренных семьях первых протестантов, которые безбоязненно пели гонимые псалмы, готовые рука в руку, спокойно и твердо итти перед инквизитора».

«Они мне казались братом и сестрой, тем больше, что у них не было детей…»

* * *

На сходках друзей быстро обменивались мысли и знания, среди острот, шуток, неистовых и неизменных криков Кетчера: «Эй вы! что ж вы бокалы-то свои забываете?.. Допивайте!.. Допивайте!..» Друзья сообщали друг другу новости, все прочитанное и узнанное ими, спорили; «вырабатываемое каждым делалось достоянием всех»– по выражению Искандера.

Грановский между тем приобретал все большую известность на своей кафедре, возбуждая к себе любовь и энтузиазм своих слушателей…

Весною 1843 г. он открыл публичный курс «Средневековой истории Франции и Англии». Вся блестящая Москва съехалась на эти лекции, как будто сговорившись заранее; дамы занимали половину аудитории. Грановский серьезно и смело для того времени проводил свои воззрения. Начальство, правда, косилось уже на него, но явно придраться к нему не могло. Успех этих лекций был колоссальный. По окончании последней лекции энтузиазм выразился, как обыкновенно, хлопаньями, криками, пожатиями руки профессора и чуть не бросанием на воздух чепцов со стороны барынь… Все теснились около профессора, изъявляя ему свой восторг, свое участие… Грановский был глубоко тронут. Ему даже не дали досказать заключительных, благодарственных слов. На крыльце его ожидали студенты и вынесли его на руках на улицу.

Популярность Грановского в Москве упрочилась этими лекциями… Шевырев, вообще не питавший к Грановскому большого расположения, после этого не мог скрывать более свою зависть и злобу, – он стал тайно интриговать против Грановского в университете и открыто, вместе с своим другом Погодиным, нападать на него в «Москвитянине». Нападки эти были нелепы и грубы… Грановского обвиняли в западничестве, а на языке этих господ быть западником значило быть почти врагом отечества.

Дело дошло до того, что Грановский на одной из своих лекций во время вторых своих публичных чтений в 1844 г, адресовался открыто к славянофилам:

«Да отчего же я должен питать ненависть к Западу? – спросил он у них. – И добросовестно ли было бы с моей стороны, ненавидя Запад, взяться за преподавание его истории?..»

Публика и студенты были, конечно, на стороне Грановского. Благороднейшие из славянофилов (К. Аксаков, Хомяков, Киреевские) видели, как аляповато и неловко нападают на Грановского их собраты по убеждениям, и старались, по окончании второго курса публичных лекций Грановского, сделать попытку к примирению. Они изъявили желание принять участие в обеде, который давался в честь Грановского, и уговорили Шевырева и Погодина присутствовать на этом обеде…

…Я приехал в Москву накануне этого обеда и был на последней лекции Грановского.

Грановский не имел на кафедре блестящего ораторского таланта, поражающего с первого раза; но в манере изложения его было столько простоты, увлекательности, пластичности и внутреннего сосредоточенного жара, который выражался в его прекрасных и грустных глазах; в его тихом голосе было столько симпатии, что, смотря на него и слушая его, я не удивлялся тому всеобщему энтузиазму, который производил он своими лекциями…

После шумных изъявлений восторга, рукоплесканий и криков (всех шумнее обнаруживали свой восторг из дам К. К. Павлова, а из кавалеров – Кетчер) все отправились прямо в дом, где приготовлен был обед в честь профессора. Распорядителями этого обеда со стороны западников был Искандер, со стороны славянофилов К. С. Аксаков или Хомяков – я хорошенько не помню.

Стол был накрыт покоем. На почетном месте, в середине стола, сидел Грановский, возле него Шевырев. Мне досталось место против них. За обед сели в три часа.

В половине обеда начались тосты. Первый тост был за Грановского, сопровождавшийся громкими единодушными криками западников и славянофилов. Грановский благодарил и предложил тост за Шевырева. Третий тост был за университет.

После этого поднялся Константин Аксаков. С энергически сжатым кулаком и сверкающими глазками, громким, торжественным голосом, ударив кулаком по столу, он произнес:

– Милостивые государи! я предлагаю вам тост за Москву!

Тост этот был принят всеми с энтузиазмом… и в эту самую минуту раздался звон колоколов, призывавших к вечерни.

Шевырев, воспользовавшись этим, произнес своим певучим и тоненьким голосом:

– Слышите ли, господа, московские колокола ответствуют на этот тост!..

Эта эффектная выходка с одной стороны возбудила улыбку, с другой – восторг. Константин Аксаков подошел к Шевыреву, и они бросились в объятия друг друга… Затем

Константин Аксаков произнес с необыкновенным пафосом известные стихи свои к Москве, начинающиеся так:

Столица древняя, родная,
Тебя ль не ведает страна?
Тебя назвать – и Русь Святая
С тобою вместе названа… и т. д.

После этих стихов Шевырев в свою очередь подошел к Аксакову и начал прижимать его к груди своей…

Когда шум и славянофильские восторги смолкли, кто-то из западников сказал:

– Милостивые государи! я предлагаю тост за всю Русь, не исключая и Петербурга…

Г. Шевырев вдруг изменился в лице при этих словах…

– Позвольте, я прошу слова! – воскликнул он, вскакивая с своего стула…

Все смолкли и обратились к нему. Он начал:

– Милостивые государи! позвольте заметить, что тост, предложенный нам сейчас – бесполезен, ибо уже в тосте за Москву, который был принят всеми без исключения с таким единодушным энтузиазмом, заключался тост всей России. Москва – ее сердце, милостивые государи, ее представительница. Москва, как справедливо заметил Константин Сергеич Аксаков в превосходной статье своей, помещенной в No «Московских ведомостей» (номер я забыл), поминала ежедневно на перекличке все русские города. – И пошел, и пошел…

Когда красноречивый оратор Москвы кончил, я обратился к нему:

– Позвольте вам сказать, что Москва не поминала на своей перекличке Петербурга, – по очень естественной причине, что Петербург не существовал тогда. За что же вы хотите исключить Петербург из общего тоста?

– Я с большим удовольствием выпью за ваше здоровье, г. Панаев, – отвечал мне Шевырев, протягивая свой бокал и чокаясь с моим бокалом…

– За Петербург! за Петербург! – кричали юные западники, и даже Кетчер заорал громче всех – «за Петербург!»– только в контру Шевыреву, потому что Кетчер не терпел Петербурга так же, как и Шевырев, хотя и смеялся над славянофилизмом…

Западники обнаружили сильное желание развернуться, но Грановский смягчил их своим кротким и умоляющим взглядом, да и сами они поняли, что Грановскому было бы крайне неприятно, если бы они пиршество, данное в честь его, превратили в два враждебные лагеря.

Обед кончался. Уже многие встали с своих мест. Тосты, впрочем, продолжались. Славянофилы обнимались с западниками. Зала гудела от говора, от времени до времени раздавался дикий хохот Кетчера и его крики: «Пей же, пей!»

Шум еще увеличился, когда все встали из-за стола и смешались…

К. Аксаков, с которым я не видался более четырех лет (он жил в это время – с семейством в своей подмосковной) встретил меня на этом обеде с явною холодностью и избегал разговора.

Я спросил его: – какая причина этому?..

– Лично против вас я ничего не имею, – откровенно отвечал мне Аксаков, пожимая мою руку: – но, – прибавил он с добродушною суровостию, – к вам как к петербургскому литератору я не могу питать никакой симпатии. Ваш Петербург извращает людей… Что сделали вы с Белинским? Можно ли было ждать, чтобы после наших дружеских отношений он позволил себе против меня такие выходки…

Какие выходки – я не знал; но я возразил Аксакову, что Белинский восставал не лично против него, а вообще против всей его партии, против «Москвитянина» в особенности, который зацеплял его очень неделикатно.

Но Аксаков горячился и отзывался о Белинском с желчью.

Примирение на этом обеде славянофилов с западниками со стороны большинства было, может, искренно, но непродолжительно. Полемика между двумя этими партиями сделалась еще ожесточеннее прежнего.

Над этим минутным и неудавшимся примирением очень справедливо подсмеивался Белинский.

– Дети, дети! – говорил он о Грановском и Искандере: – им только бы придраться к какому-нибудь случаю, чтобы лишний раз выпить и поболтать… Какое это примирение? И неужели Грановский серьезно верит в него? Быть не может!.. Сколько ни пей и ни чокайся, это не послужит ни к чему, если нет в людях никакой точки соприкосновения, никакой возможности к уступке с той или с другой стороны. Для меня эти лобызания в пьяном виде – противны и гадки…

Белинский изъяснялся еще резче в своих письмах к московским друзьям по поводу этого мнимого примирения.

Примирительный обед так раздражил его, что после него он стал писать в «Отечественных записках» против славянофилов еще злее.

Грановскому сначала это было неприятно. По мягкости своего характера он, кажется, полагал, что дурной мир лучше доброй ссоры, и даже старался иногда оправдывать перед своими друзьями Шевырева, своего непримиримого врага…

Но когда появились бессильные и гадкие стихи Языкова под заглавием: «Не наши», в которых прежний поэт разгула и свободы, сделавшийся, как выразился очень удачно Искандер, славянофилом по родству (Хомяков был женат на его сестре), намекал на Чаадаева – как на отступника, на Грановского – как на лжеучителя, губящего юношество, на Искандера – как на лакея, щеголяющего западной ливреей; на всех разделяющих их идеи – как на изменников отечества, – при такой выходке даже миролюбивый и кроткий Грановский вышел из себя.

– Нет, господа, – говорил он, – я каюсь в своем глупом заблуждении. Белинский тысячу раз прав. Примирение с господами, действующими против нас такими средствами, глупо и нелепо.

Впрочем, благороднейший и честнейший из славянофилов К. Аксаков с негодованием, как известно, протестовал против стихотворного доноса болезненного поэта, выживавшего из ума и пережившего свой поверхностный талант.

Ссоры с славянофилами, обнаруживавшиеся желчной полемикой в журналах («Москвитянине» и «Отечественных записках») и оканчивавшиеся всегда торжеством западной партии, которой явно сочувствовала читающая публика, – были все-таки не по сердцу Грановскому. Многих из славянофилов Грановский и уважал и любил. Он отзывался постоянно с увлечением о благородстве и честности К. Аксакова и братьев Киреевских и отдавал полную справедливость блестящим способностям и остроумию Хомякова.

Всепримиряющее, нежное свойство души Грановского, ровность и приятность его обращения со всеми, – его вкрадчивость, сказал бы я, если бы с этим словом не соединялась мысль о хитрости, несовместной с его характером, – все это вместе постепенно привлекало к нему различные слои московского общества и способствовало к распространению его популярности… Грановский был, между прочим, очень дружен с П. Я. Чаадаевым, но об этом я буду, иметь ещё случай говорить впоследствии. За Грановским все гонялись, все искали его знакомства, его внимания, все дорожили его мнением и впоследствии на связи с ним основывали свою известность. Такое искание его, такое внимание к нему отвлекало его от занятий, не давало ему времени сосредоточиваться для них; но Грановский, по мягкости своей, не мог отказаться от общественных связей, от своего расширявшегося знакомства. Он нередко даже исчезал на несколько дней из своего кружка и на насмешливые упреки своих друзей пожимал плечами и, улыбаясь, отвечал:

– Ну, что ж делать?.. Если я вижу, что огорчу людей своим отказом, у меня недостает духу отказываться.

Каролина Карловна Павлова одно время с свойственною ей бойкостию завладела было совсем Грановским недели на две… Она перечитала ему все свои поэмы и стихотворения, и Грановский, очень хорошо умевший отличать громкие стихотворные фразы от истинной поэзии, наделенный большим эстетическим вкусом, увлекся было реторикой Павловой и начал через меру восхвалять ее стихи. Приятели подсмеивались над ним, особенно Белинский. Грановский сам чувствовал, что он неправ.

– Ну, если в ее стихах нет поэзии, – возражал он, – по крайней мере нельзя же отказать ей в том, что у нее стих необыкновенно звучный…

– Да кто же не пишет теперь звучных стихов? – перебили его.

– Вот и он! – прибавил Боткин, указывая на меня, и прочел ему по этому случаю мою пародию на Павлову:

Она все думала, что мысль и вдохновенье
Достались ей в удел;
Что рождена она для песнопенья,
Для высших дел;
Что ей и стих и смелое созвучье
В ущерб другим даны;
Что нет ее созданий в мире лучше… и т. д.

Пародия эта очень понравилась Грановскому, он смеялся и с этих пор уже не вступался за поэзию автора «Кадрили». После напечатания некоторых глав из этой поэмы он даже сам подсмеивался над своим увлечением.

* * *

Грановский любил общество молодых, умных и развитых женщин и с некоторыми из таких он был в самых интимных отношениях, к которым никогда не примешивалось ни малейшей доли страсти; но кружок друзей нараспашку, за хорошим обедом или ужином, в придачу с Кетчером (т. е. с шампанским) он все-таки предпочитал утонченным дамским беседам; ему приятно было внимание к нему московского общества; но он дорожил гораздо более тем энтузиазмом, который возбуждал в своих слушателях и вообще во всей развитой молодежи. Он очень ясно видел, что она приветствует в нем, как удачно заметил кто-то, «рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной зависимости и борьбы за нее»…

С каждым приездом моим в Москву и с каждым приездом Грановского в Петербург я привязывался к нему сильнее. Грановский видел это и не раз обнаруживал мне свою симпатию.

Еще более сблизился я с ним летом 1845 г. в Москве. Жена моя была очень дружна с женою Грановского. Она была почти всякий день у Грановских, я довольно часто обедывал у них. Жили они тогда на Садовой, в доме Мюльгаузена (тестя Грановского). Мы только что вернулись из нашей заграничной поездки, и я передавал Грановскому и всем нашим общим приятелям парижские похождения различных наших соотечественников и некоторых людей, очень близких нам. Я очень смешил всех этими рассказами. Грановскому особенно нравился мой рассказ о забавных похождениях некоего капитана Клыкова (человека, впрочем, доброго и честного), окончившихся процессом в исправительной полиции.

* * *

Искандер летом в 1845 г. переехал на дачу в Соколово… Соколово, старинное барское село, некогда принадлежавшее Румянцевым, находится в 20 верстах не доезжая Москвы по петербургской дороге… Место, где расположен Соколовский парк, очень живописно. В этом парке выстроено несколько домов и домиков. В одном из больших домов жил сам помещик Дивов, другие он отдавал внаймы на лето.

Искандер занял дом, стоявший в парке на горе, над небольшою, извивающеюся речкою. Влево, в полуверсте от дома, где кончался парк, стояла беседка, в густой зелени, носившая название Belle-vue, из которой открывался отличный вид вдаль; вправо расстилались луга и хлебная степь…

Грановский, Корш, Боткин, Кетчер и другие ездили туда почти каждую субботу и оставались там до понедельника. В одну из суббот я присоединился к ним.

– Насчет питий, – кричал Кетчер, – не беспокойтесь, я уж распоряжусь; надо взять с собой по крайней мере дюжину шампанского, да и других вин. У них там, по моему расчету, должно быть вино на исходе. Надо, впрочем, справиться у Депре (при этом он как-то строго вздернул брови), когда в последний раз брали у него; но во всяком случае ящик шампанского взять необходимо…

Жена Грановского уже несколько дней перед этим гостила в Соколове вместе с М. Ф. Корш (сестрой Корша).

Часов в 8 вечера мы выехали из Москвы. Кетчер уложил огромный запас вина нам под ноги, так что мы не знали, куда девать наши ноги; сам он уселся на козлы с ямщиком, в своем мефистофелевском плаще на красной подкладке, и хохотал над нами всю дорогу, забавляясь тем, как мы корчили ноги.

Когда мы приехали в Соколово и вышли, чтобы подняться пешком на гору, уже начинало темнеть… Кетчер шел впереди, указывая нам дорогу, размахивая палкой и оглашая дуброву своим зычным голосом и гомерическим смехом.

Искандер выбежал на этот голос и смех нам навстречу. Вслед за ним появились дамы – жена Искандера и жена Грановского.

Грановский, поцеловавшись с женой, отправился с нею вперед и исчез между деревьями, а Кетчер, обращаясь к Искандеру, его жене и М. К. Рейхель, девице, жившей у Искандера, кричал:

– Ну, что вы поделываете, как вы поживаете? – кричал Кетчер. – Ха, ха, ха! Ждали ли вы таких дорогих гостей? Ха, ха, ха!.. А есть ли у тебя вино? Чем ты будешь поить нас? Ха, ха, ха!

Он подбоченился и остановился перед Искандером.

– У меня есть еще небольшой запас; но зная, что вы все приедете, – отвечал он, – я сегодня послал к Депре.

– Ну, а зачем же ты не написал ко мне? Для чего напрасно мучить и посылать человека?..

Кетчер имел обыкновение обращаться с своими совершеннолетними друзьями, как гувернер с детьми. Он начал серьезно ворчать на Искандера и сопровождал это ворчанье сильной мимикой.

– Перестань орать! Скучно! – заметил Искандер. – Вино будет. Чего тебе еще?

– Не в том сила, – возразил упорно Кетчер: – я уж позаботился об этом, мы привезли вина с собой, – дело в том, что ведь ты свистун, братец, не умеешь ничем заранее распорядиться…

И вслед за тем он снова залился добродушнейшим хохотом…

Отпустив еще с хохотом несколько любезностей дамам, Кетчер направился лично убедиться, поставлено ли шампанское на лед.

* * *

…Время, проведенное мною в Соколове, я никогда не забуду. Оно принадлежит к самым лучшим моим воспоминаниям. Чудные дни, великолепные теплые вечера, этот парк при закате солнца и в лунные ночи, наши прогулки, наши обеды на широкой лужайке перед домом, послеобеденное far-niente на верхнем балконе, встреча утренних зорь, всегда оживленная беседа, иногда горячие споры, никогда не доходившие до неприятного раздражения, увлекательная речь Грановского, блестящее остроумие Герцена, колкие заметки Корша, дикий, но добродушный хохот Кетчера, размахивавшего длинным чубуком – все это вместе было так хорошо, так полно жизни и поэзии… В этом поэтическом чаду, вероятно, никому из нас не приходило в голову, что это последние пиры молодости, проводы лучшей половины жизни, что каждый из нас стоит уже на той черте, за которой ожидают его разочарования, разногласия с друзьями, неизбежные охлаждения, следующие за этим, разъединение, долгие непредвиденные разлуки и близкие преждевременные могилы…

А лето 1845 года в Соколове действительно было закатом молодости этого кружка, лучшими представителями которого были Белинский, Искандер и Грановский, – но закатом великолепным, блестящим, ярко и картинно озарившим всех друзей своими последними лучами…

…Утром, после чая, Искандер шел обыкновенно в свой кабинет работать, и все рассыпались в парке… Кто лежал с книгой под деревом, кто гулял, кто вел тихую беседу с приятелем на берегу реки, кто отправлялся купаться; Кетчер обыкновенно с огромной палкой и с котомкой уходил в лес за грибами. Перед обедом все сходились. Искандер являлся после своих занятий еще живее и веселее обыкновенного, обед был шумный, вино не сходило со стола до ночи. Кетчер ликовал, – он был в своей сфере, откупоривая с шумом бутылку за бутылкой. Эти хлопанья, среди самых непрерываемых, одушевленных и пылких речей, нередко продолжались до самого рассвета. Все кипели молодою жизнию. Никто не думал о сне, никому не хотелось расстаться друг с другом, даже дамы не спали…

После одной из таких ночей, недалеко до рассвета, я, несколько утомленный, отправился спать. Я спал вместе с Кетчером в отдельном небольшом домике… Хочу отворить дверь – дверь заперта; я стучусь… нет ответа, только внутри дома раздается хохот Кетчера и женские голоса… Я подхожу к окну – и вижу Елизавету Богдановну (жену Грановского) и Марью Каспаровну (девицу, жившую у Искандера). Они сговорились с Кетчером подшутить надо мной и не пускать меня до рассвета. Делать нечего. Я воротился в Belle-vue, где еще продолжался шумный, веселый разговор до солнечного восхода… Вина было выпито страшное количество, но оно как будто не действовало на нас, только солнце уличило нас в неумеренной попойке, осветив наши бледные и зеленоватые лица…

Часов около десяти на другой день Искандер пришел будить нас…

– Ну, Панаев, – сказал он, – беда! Нам сегодня, кажется, вовсе придется не обедать.

– Отчего? – спросил я.

– Весь запас истощился, и даже капли водки не осталось.

Рюмка водки перед обедом была для меня и для него необходимостию…

– Что же делать? об этом надо серьезно подумать, – продолжал Искандер. – Я послал в Москву человека, да не знаю, успеет ли он вернуться к обеду… Ах, вот блестящая мысль!.. Я возьму у Наташи спирту, на котором приготовляют кофе, и мы впустим туда несколько капель воды. Это может с успехом заменить водку.

Действительно, так было сделано. Эта импровизированная водка до того понравилась мне и Искандеру, что мы долго потом употребляли вместо водки спирт, подвергаясь остроумным замечаниям Корша и других приятелей…

…Для полного комплекта недоставало в это лето только Огарева, который был за границей. Отсутствие его особенно чувствовалось Грановским и Искандером, которые были к нему сильно привязаны…

Весною 1846 года Грановский читал третий и последний курс своих публичных лекций. Опять вся Москва собралась к его кафедре. Я не слышал этих лекций, но все наши друзья говорили, что лекции эти не были так удачны, как первые, что Грановский обнаруживал какое-то утомление, что-то как будто тревожило его и лишало одушевления.

После одной из этих лекций Грановский узнал о приезде Огарева и Сатина.

Вместе с Искандером они бросились к Яру.

Свидание после нескольких лет разлуки было горячо…

Теперь кружок был в полном сборе.

Тут же сговорились, чтобы лето провести неразлучно и непременно опять в Соколове, которое я называл почему-то всегда Соколовкой. Искандер постоянно подсмеивался над этим.

– Настоящий барин, – говорил он про меня, смеясь: – он все употребляет уменьшительные: Прохор у него Прошка, Соколово – Соколовка.

Искандер занял прежний дом, Грановский – небольшой флигель в этом же парке, Огарев поместился на антресолях, Кетчер – в маленьком домике, в глубине парка…

Все мечтали о том, как будет хорошо и весело. Надежды, однако, не сбылись… После переселения на дачу у Искандера умер отец. Хлопоты и дела отвлекли его на время от друзей…

Я приехал в Москву, когда Искандер кончил свои дела, и отправился вместе с ним в Соколово.

Раз вечером, когда мы все сидели на верхнем балконе дома, занимаемого Искандером, между ним и Грановским зашла речь о тех теоретических вопросах, до которых они вовсе не касались или касались только слегка, как бы боясь серьезно затронуть их… Слово за слово, спорящие разгорячились; Грановскому спор этот, повидимому, был очень неприятен, он старался прекратить его, но Искандер упорно продолжал его. Наконец Грановский, меняясь в лице, сухо сказал:

– Довольно, – что бы ты ни говорил, ты никогда не убедишь меня и не заставишь принять твоих взглядов… Есть черта, за которую я не хотел бы переходить. Мы дошли до этой черты.

Искандер взглянул на Огарева грустно-иронически. Огарев печально покачал головою.

Последовало неловкое молчание; потом разговор возобновился об обыкновенных вещах.

Я в первый раз видел Грановского в раздраженном состоянии и до этого не подозревал, чтобы между им и Искандером могло существовать разногласие, близкое к охлаждению их отношений…

Весь этот вечер и Грановский и Искандер были грустны и чувствовали неловкость… Даже крики и хохот Кетчера, который они всегда сносили терпеливо, кажется беспокоили их.

На другой день, за обедом, Грановский очень хвалил одну из статей Искандера, напечатанную в «Отечественных записках».

– Да что ж тебе нравится, – возразил с ироническою улыбкою Искандер: – стиль, что ли? Ведь ты не согласен с моим взглядом…

Грановский вспыхнул.

– Твои статьи, – возразил он, – будят, толкают, – вот чем они хороши… Разумеется, односторонности твоих воззрений и теорий поддаваться нельзя…

– Так если мои теории – пустяки, для чего же будить и тревожить людей из-за пустяков?

Спор снова закипел, в него вмешался Огарев, который был на стороне Искандера, и кончился тем, что Грановский сказал, побледнев и дрожащим голосом:

– Вы меня, господа, очень одолжите, если в разговоре со мною не будете касаться таких предметов. Можно говорить о чем-нибудь более приятном и полезном…

Жена Искандера круто переменила разговор…

Корш через несколько дней после этого заметил Искандеру и Огареву, что, будучи уже в совершеннолетии и зрелости, мечтать о каком-то идеальном тождестве между друзьями невозможно.

Грановский и Искандер сходились попрежнему; в их наружных отношениях ничего не переменилось; но если не холодность, то какая-то осторожность уже заметна была в обращении их друг с другом.

Они так и расстались.

После отъезда Искандера за границу представителем московского кружка остался Грановский. Около него группируются все остальные. Авторитет его доходит в это время до своей высшей ступени.

Грановский делается кумиром кружка, может быть даже и сам не замечая этого при начале. Его влияние растет как будто против его воли, потому что он вовсе не хлопочет об этом и не только не старается поддержать его, напротив, делает все, чтобы поколебать его, как мы увидим впоследствии. Если Грановский обращает внимание на какого-нибудь молодого человека и замечает о его таланте, отзывается с похвалою о его научных сведениях, – этот молодой человек одним словом Грановского тотчас же выдвигается из толпы: петербургские журналисты начинают гоняться за ним, предлагают ему хорошие деньги за его статьи,

стараются переманивать его друг от друга и проч. Грановский, по своей доброте и снисходительности, нередко ошибался в людях, и на его рекомендации не всегда можно было положиться. Он поднял было на минуту Ордынского, объявив его человеком чрезвычайно даровитым и знатоком греческого мира. Ордынский вдруг явился сотрудником в лучших журналах; но его несостоятельность и тупость обнаружились скоро, – и Грановский тотчас же сознается в своей ошибке и еще смеется над собою…

Сделавшись авторитетом и сознавая это, Грановский носил этот авторитет так легко, так незаметно, что его нельзя было отличить от простых смертных… Он никого не тяготил своим авторитетом, никому не навязывал его. Он оставался тем же гуманным, мягким, симпатическим. Грановским, которым был и до этого.

Он сам скорее тяготился приобретенным им значением и теми обязанностями, которые это значение налагало на него. У него недоставало необходимой для представителя кружка силы, энергии, и потому, после отъезда Искандера за границу, московский кружок мельчает, бледнеет, выдыхается. В среде его начинают появляться новые люди, конечно прекрасные, но ограниченные и малоспособные. Корш переезжает в Петербург, Огарев живет в деревне… Все как-то расклеивается…

После 1848 года неблагосклонность правительства к университетам, преследование литературы, тупоумие цензуры доходит до последних пределов. Малейшее движение на Западе отзывается у нас новым гнетом. О Грановском в течение трех месяцев два раза собирает справки тайная полиция. Все избранные, передовые люди, подавленные страданием, упадают духом – и Грановский, может быть, более, нежели другие… Он ищет развлечения, забвения разных неприятностей – в картах. Слабость к картам развивается у него до страсти. Он ведет большую игру, вовсе несообразную с своими ограниченными средствами, путается в своих делах, занимает деньги, заводит связи с людьми, не имеющими с ним ничего общего, нимало не заботясь о том, что это вредит его авторитету как профессора и как представителя кружка. Студенты начинают роптать на него, хотя любят его попрежнему; друзья исподтишка покачивают головами и вздыхают, замечая, что карты губят его…

В это время возвращается из-за границы Н. Г. Фролов, после смерти первой жены своей, урожденной Галаховой, – женщины, по всеобщему сознанию всех знавших ее, чрезвычайно замечательной. Грановский познакомился с Фроловыми за границей и был очень близок с ними.[8]

Отношения Грановского к Фролову и связи, скреплявшие их все более и более после возвращения Фролова в отечество, заставили Грановского быть несколько пристрастным к нему и придавать ему значение, которого он не имел. Закоренелые кружковые доктринеры искренно или по расчету подчинялись во всем безусловно Грановскому, смотрели, разумеется, его глазами на Фролова, не позволяя иметь о нем никому самостоятельного мнения и в противном случае грозили кружковой опалой. Маленький и кругленький Фролов вдруг поднялся и вырос в качестве друга Грановского…

Я здесь, кстати, передам те впечатления, которые оставил во мне Фролов. Верны они или нет – пусть судят об этом люди, которые близко знали его и смотрели на него беспристрастно и независимо от его связи с Грановским. Только эта связь заставляет меня остановиться перед ним на минуту.

Фролов занимал середину между людьми, которых обыкновенно клеймят названием дюжинных людей, и людьми, выдающимися из толпы по своим способностям…

Уже он не мог быть вполне дюжинным человеком, потому что самолюбие дюжинных людей удовлетворяется обыкновенно мелочами и пустяками, а самолюбие Фролова, которое постоянно грызло и терзало его, заключалось в том, чтобы сделаться серьезным человеком и приобрести во что бы то ни стало ученую известность. Он воспитывался в Пажеском корпусе и выпущен был оттуда в Семеновский полк. Четыре года исполнял он с безукоризненною отчетливостию все служебные обязанности, но недостаток высшего образования не давал покою его самолюбию. Он завел знакомство с разными петербургскими профессорами,

спрашивал у них советов, особенно дорожил советами профессора Никитенки, и решился выйти в отставку и отправиться в Дерпт. Из Дерпта он уехал в Германию и женился на Е. П. Галаховой… Он не знал, на чем остановиться, не имея ни к какой науке положительного, истинного призвания, и потому слушал в Берлине всевозможные курсы: истории, философии, права, естественных наук и путался в этой обширной программе. Наконец, после долгих странствований и исканий, он остановился на Гумбольдте и Риттере и их последователях, в намерении перенести на русскую почву столь мало известную, у нас науку землеведения.

Возвратясь в 1847 году в Россию, он вывез из-за границы начало труда своего об Александре Гумбольдте, перевод I части «Космоса», модели памятников жены своей и картины и рисунки того места кладбища, где она покоится…

Я познакомился с Фроловым в конце 1844 года в Париже; он посещал усердно лекции в Сорбонне, тщательно записывал их, по вечерам писал что-то, рылся в своих бумагах, обнаруживал какую-то ученую кропотливость и среди шумной парижской жизни вел жизнь монашескую, упорно подавляя в себе страсти, которые иногда, против воли его, прорывались в его взглядах и в выражении лица его. В нем действительно было что-то монашеское… Сходясь с людьми, он имел поползновение тотчас закрадываться в их внутренний мир и управлять их совестью, подобно католическим аббатикам; но это редко удавалось ему, потому что ему недоставало их ядовитой хитрости и тонкости.

В Петербурге он обратился ко мне, как уже к близкому знакомому, с рукописью о Гумбольдте, для напечатания ее в «Современнике». Мы решились печатать ее, хотя конца ее не предвиделось. Влияние Грановского на нас в этом случае было сильно. Грановский отзывался о статье с большою похвалою. До этого (то есть еще до приезда его в Россию) было уже напечатано в «Современнике» исследование Фролова о женевской тюрьме, доставленное нам Грановским же.

Первая статья о Гумбольдте не произвела благоприятного впечатления на публику. Фролов не совладел с своим предметом, путался, повторялся и еще более затемнял изложение неуменьем владеть русской фразой.

Я заметил ему, что его язык надо поправлять… Это было неприятно ему, но он согласился, с тем чтобы поправки эти делались в его присутствии…

Часа три сряду мы сидели над мелко исписанною, нечеткою рукописью – и я едва успел привести в порядок первые пять страниц. Фролов даже никак не мог справиться с знаками препинания. Точек у него вовсе не было; вся рукопись испещрена была точками с запятыми. Поправки мои ему не нравились, он упорно защищал свои бесконечные периоды. Пот лился с меня градом. Это была невыносимая пытка.

Поправки эти и то, что вторая, полуисправленная статья напечатана была без шпонок (то есть теснее обыкновенного, строчка к строчке) – оскорбили его самолюбие. Он надулся на нас.

Друзья Грановского и Фролова вменяли нам отсутствие этих проклятых шпонок в великое преступление, обвиняли нас в том, что мы сделали это из барышничества, из жадности к деньгам, чтобы менее заплатить за статью, не принимая в соображение, что расчет уменьшился на какие-нибудь 10 р., которые обогатить нас не могли, и что мы из угождения к кружку бросали сотни рублей не только бесполезно, даже, может быть, ко вреду журнала, ибо статьи о Гумбольдте оставались в журнале неразрезанными…

Фролов так и не окончил эти статьи, углубившись в перевод «Космоса», доказавший только окончательно совершенное неуменье переводчика владеть отечественным языком. Едва ли у кого-нибудь из самых любознательных читателей достало терпения пересилить половину первой части знаменитого творения Гумбольдта в переводе Фролова.

Поселившись в Москве, Фролов скоро женился на больной сестре Станкевича, которая умерла через несколько месяцев после брака. Средства его после этого значительно

расширились, и он мог независимее предаваться своим кропотливым трудам, продолжать свою труженическую жизнь. С Грановским он сближался теснее и теснее.

Летом 1850 года он переехал на дачу вместе с Грановским в Архангельское князя Юсупова. Они заняли один из больших флигелей, выдававшихся к Москве-реке. Грановские поместились в нижнем этаже, Фролов – наверху…

…Я приехал в Москву вскоре после их переезда и остановился, по обыкновению, у Боткина. Грановский и Фролов, бывшие в это время по делам в Москве (Фролов строил для себя дом), просили меня и Боткина переселиться к ним в Архангельское, недели хоть на две, говоря, что у них очень обширное помещение. Фролов был со мною любезен. Он забыл, повидимому, о шпонках.

– У нас вам будет хорошо, право хорошо, – говорил он, обращаясь ко мне и Боткину и смотря на нас с двусмысленною улыбочкою: смесь добродушия с дурно скрываемым самодовольством от сознания своего превосходства.

Фролов постоянно обращался к нам с такою улыбочкою. Переложенная на слова, она как будто говорила: «вы люди хорошие, добрые, но ветреные, пустые; несмотря на это, я, человек дельный и серьезный, удостоиваю вас своим расположением. Вы мне нравитесь…»

– Вам будет покойно, – продолжал Фролов, кладя мне руку на плечо: – мы поместим вас вместе с Васильем Петровичем, у вас будет отдельная комната… Мы постараемся доставить вам всевозможные развлечения, вы не соскучитесь… Какие прогулки у нас, какое купанье!

Мы охотно приняли это приглашение и сговорились ехать вместе с Грановским в его тарантасе на другой день вечером…

Вечер этот для меня незабвенен.

Мы уселись втроем в тарантасе и отправились в Архангельское часов около восьми.

Это было в исходе июня.

Когда мы въехали на проселочную дорогу, ведущую к Архангельскому, а город с пылью и духотою остался далеко за нами и нас охватил свежий и душистый воздух полей и деревенский простор, – нам сделалось необыкновенно легко и приятно…

Грановский и без того в этот день был в очень хорошем расположении духа: лицо его было как-то особенно светло и приветливо, и его задумчивые, грустные глаза смотрели веселее, как будто какая-то тяжесть спадала с него.

У него была потребность высказаться, и он разговорился с нами о себе с такою увлекательною горячностию и откровенностию, с таким бесконечным добродушием, с такою задушевною простотою, к которым способны только люди с высшими, избранными натурами, не боящиеся открыто сознаваться в своих недостатках и слабостях.

Он завел речь о своей страсти к картам.

– Вы и вообразить не можете, господа, – сказал он нам, – до чего доводила меня эта безумная страсть и в какое ужасное положение она ставила меня!..

И он рассказал нам, как, увлекаясь постепенно и проигрывая, он увеличивал игру, с каждым днем путаясь более и более; с каким трудом доставал деньги для уплаты; как, наконец, он задолжал такую сумму, которую непременно надо было выплатить через неделю, а достать ее в такой короткий срок не предвиделось никакой возможности; как честь его висела на волоске; какие страшные и мучительные бессонные ночи проводил он; как, узнав его

безвыходное положение, к нему обратились известные московские шулера с предложением ему денег, с тем чтобы он вступил в их сообщество. Им нужно было безукоризненное, честное имя, чистая репутация для прикрытия их мошенничества, плутней и грабежа. Грановский тут-то только увидел ясно, до какого страшного падения довела его безумная страсть, над какой пропастью остановился он… Шулера, конечно, уехали от Грановского смущенные, поняв всю глупость и необдуманность своего поступка, а Грановского спас один из его приятелей, достав нужную ему сумму.

– Уж теперь кончено, господа, – прибавил он в заключение своего рассказа: – урок, полученный мною, был слишком жесток, и я даю вам слово, что не буду брать этих проклятых карт в руки…

Потом он начал рассказывать нам с одушевлением о замышляемых им трудах, о тех исторических вопросах, которые занимали его в ту минуту… Глаза его горели. Лицо было одушевлено. Мы радовались, видя его нравственное обновление. С этого незабвенного вечера я полюбил его еще более…

Подъезжая к Архангельскому, Грановский заметил Боткину, почему он не попробует себя в повествовательном роде… что по складу своего ума он мог бы написать недурную психологическую повесть… Мысль эта понравилась Боткину…

– А в самом деле, разве попробовать? – сказал он в раздумьи и покачивая головою: – сюжет-то трудно выдумать; что бы такое придумать?.. Сюжет – это ужасно трудная вещь!

И Боткин начал импровизировать сюжет, сначала довольно серьезно, но так как из этой импровизации ничего не выходило, то он обратил ее в шутку, и мы от души смеялись над его вымыслом, до тех пор покуда въехали в густую аллею великолепного архангельского парка.

У крыльца дома ожидали нас жена Грановского с своею сестрой, Фролов и Ник. Щепкин с женою, нанимавшие также дачу в Архангельском…

На нас с Боткиным посыпались отчасти колкие, отчасти добродушные замечания Фролова, сопровождаемые улыбками и дружеским трепаньем по плечу…

Все мы перед ужином прошлись немного по парку к большому дому…

Архангельское и в вечернем сумраке поразило меня своим великолепием, изяществом и широтою своих размеров… Боткин кстати начал припоминать стихи Пушкина об Архангельском, из послания его к Юсупову.

Ложась спать, мы с Боткиным мечтали о том, что проведем несколько приятнейших дней в Архангельском.

Боткин был в самом тихом и приятном настроении, которое часто у него расплывалось до сантиментальности. Он, сидя на постели, покачивая мерно и тихо головою, с сладким выражением лица хвалил Фролова…

– Милый человек, милый! – повторял он: – у него прекрасное сердце… конечно, он не орел… между нами, Грановский ведь пристрастен к нему… ведь у Фролова в голове путаница, туман, – но человек он милый, милый, добрый…

Мечты наши о приятных днях, предстоящих нам в Архангельском, осуществились не вполне. К концу нашего пребывания гармония, царствовавшая между нами и нашими гостеприимными хозяевами, была несколько нарушена; но об этом после.

Первые дни нашего пребывания прошли весело и незаметно в разговорах, прогулках, в катаньях на лодке по Москве-реке, в осмотре достопримечательностей Архангельского. Последнее Грановского мало занимало, но Фролов был нашим усердным чичероне: он водил

нас в дом, в театр, посвященный Гонзаго, указывал нам на каждую картину и статую, казавшиеся ему замечательными; причем Боткин замечал иногда раздраженным голосом:

– Что это вы-с? С чего вы взяли, что это хорошая вещь? Это дрянь, просто дрянь… Это все плохие копии. Все, что было здесь замечательного, вывезено отсюда в Петербург еще отцом Юсупова… а это дрянь, дрянь!

Фролов останавливал нас даже перед старыми и развесистыми дубами и липами в парке и замечал, что такие деревья можно найти только в одном царскосельском парке (по приезде в Петербург он поселился в Царском селе и изучил его парки с подробностию).

День наш начинался часов в девять – кофеем, чаем и различными закусками, расставленными на длинном столе в большой столовой, внизу, которая примыкала к теплице, уставленной большими померанцевыми, апельсинными и лавровыми деревьями. Грановский, пивший декохт, вставал ранее нас и после декохта около часу прохаживался по великолепной широкой липовой аллее, которая вела от флигеля к большому дому, пробегая «Journal des debats», «Independance» и «Allgemeine Zeitung» … Затем, когда он оканчивал свою прогулку, мы отправлялись к чаю, где все уже были в сборе, кроме Фролова. Фролов являлся немного позже, с заспанными глазками, целовал ручки дамам, всех дружно приветствовал, потом пил и кушал с усердием и, накушавшись, что называется, вплотную, отправлялся к себе наверх заниматься… Раз с Боткиным мы не выдержали, посмотрели в щель двери и увидели Фролова преспокойно и пресладко спавшим… С тех пор, когда Фролов говорил, что он идет заниматься, мы с Боткиным без невольной улыбки не могли взглядывать друг на друга. После чая с завтраком Грановский уходил в свой кабинет и до самого обеда не отходил от своей конторки. Его занимал в это время, если я не ошибаюсь, его курс истории для учебных заведений. В 4 часа садились за стол, а после обеда предавались различным развлечениям, прогулке и беседе.

Наше мирное деревенское времяпровождение нарушено было прежде всего приездом Сатина и Кетчера с ящиком шампанского, затем приездом в Архангельское молодого Юсупова с своими приятелями и последовавшими затем празднествами…

Я и Боткин были довольно коротко знакомы с Юсуповым. Юсупов, узнав о нашем пребывании в Архангельском, тотчас пригласил нас к себе. С Юсуповым приехали в Архангельское также близко знакомые мне Г* и В*. Мы провели у Юсупова вечер и следующие затем три дня. На второй день у Юсупова был обед. Юсупов, зная, что Грановский нанимает дачу у него в Архангельском, не сделав предварительного визита Грановскому, вздумал пригласить его на обед, не сказав ни мне, ни Боткину ни слова об этом. Грановский улыбнулся этому приглашению и оставил его без внимания. Мы, ничего не подозревая, очень беспечно и спокойно явились к утреннему чаю Грановского… Через несколько минут мы стали замечать, что на нас посматривают очень недоброжелательно, отвечают на наши вопросы нехотя и вообще обращаются с нами с холодною сдержанностию. Более всех обнаружил к нам холодность Н. Щепкин, едва удостоивавший смотреть на нас, и Фролов. В самом Грановском мы еще не заметили, впрочем, никакой перемены: он обращался к нам со всегдашнею своею приветливостию и улыбался нам так же симпатически.

Мне и в голову не приходила причина перемены к нам остальных. Я никак не мог придумать, что бы это значило… Когда мы ложились спать, Боткин, проведавший обо всем, уже объяснил мне, в чем дело.

Фролов предположил, что Грановский был приглашен Юсуповым по совету моему и Боткина, что мы этим скомпрометировали и унизили достоинство Грановского. Ко всему этому примешивались еще кое-какие сплетни.

Меня очень огорчило это. Я так высоко ценил Грановского, так искренно любил его, так дорожил его приязнью ко мне, что всякое недоразумение между им и мною было тяжело мне. До остальных мне не было дела.

Утром, при встрече с Грановским, я тотчас же объяснился с ним. Я был сильно взволнован и невольно высказал по этому поводу со всею горячностию мои чувства к нему. Грановский обнял меня и поцеловал.

– Клянусь тебе, – сказал он мне, – что ни в тебе, ни в Боткине я не сомневался, я был уверен, что вы не могли поступить так бестактно. Я против вас ничего не имею и люблю вас всею душою. Фролов по дружбе ко мне принял все это слишком горячо и в горячности заподозрил вас. Согласись, однако, что приглашение было странно: с какой стати я пошел бы обедать к не знакомому мне человеку по его приглашению. Он мог бы сначала сделать мне визит, если бы желал видеть меня у себя… Об этом, впрочем, не стоит толковать, и я очень благодарен тебе за твое прямое объяснение.

Но Фролов и Щепкин уходились еще не так скоро…

…Мы провели у Грановского еще дня два, не так уже приятно, как прежде, и уехали в Москву.

С тех пор я не видел Фролова. Фролов женился после этого в третий раз на родственнице Грановского и продолжал вести свою однообразную, труженическую жизнь, занявшись в последнее время изданием «Магазина землеведения и путешествий». Он умер в один год с Грановским, несколькими месяцами ранее его, в черниговском имении своей последней жены…

Еще за несколько времени до поездки моей в Архангельское я обедал с Грановским в Троицком трактире. Грановский был в этот день в хорошем настроении.

Зашла речь о Фролове. Я заметил, что у него какая-то путаница в голове.

Грановский улыбнулся.

– Нет, – сказал он, – поверь мне, что Фролов очень умный человек и душа у него прекрасная, но у него нет никакого диалектического дара: когда он говорит со мною об отвлеченных предметах, в ту минуту, когда он говорит, я ничего не могу понять; но после, когда я остаюсь один и вспоминаю его разговор, я понимаю, что он хотел сказать мне.

* * *

…Грановский принимал горячее участие в успехах русской литературы, радовался развитию нашей журналистики и постоянно твердил о необходимости поддерживать лучшие ее органы. К «Современнику» он питал более симпатии, чем к «Отечественным запискам»; с г. Краевским он не мог иметь ничего общего, но, несмотря на это, считал как бы своею обязанностию посылать ему изредка свои статьи… Враждебные отношения этих двух журналов беспокоили его, и он умолял нас не вступать в полемику с «Отечественными записками».

– Бросьте, ради бога, ваши личные отношения, – говорил он нам не раз: – дело не в Краевском, чорт с ним совсем! Я сам его не люблю, – но существование и процветание его журнала необходимо так же, как существование и процветание вашего.

В один из своих приездов в Петербург он остановился у Корша и пригласил на вечер между прочими своими знакомыми и г. Краевского.

За ужином он встал и, обращаясь в особенности к г. Краевскому и ко мне, предложил тост за процветание «Отечественных записок» и «Современника» и за восстановление между ними полного согласия.

«Желательно было бы, – сказал он, – чтобы между „Отечественными записками“ и „Современником“ не существовало никаких враждебных отношений – и о чем враждовать им? Они идут к одной цели, действуют в одинаковом направлении. Вы, господа (он обратился к г. Краевскому и ко мне), должны оставить ваши личные неприятности и отношения и соединиться

во имя общего дела. Мы все от души пьем за процветание „Отечественных записок“ и „Современника“!»

Г. Краевский, с насупившимися бровями, проговорил что-то глухо. Я протянул ему свой бокал и сказал, что искренно желаю успеха «Отечественным запискам» и что даже лично против него не имею ничего. «Нас призывает, как заметил Грановский, – прибавил я в заключение, – дело общее, забудемте наши личные мелочные отношения и дадим себе слово прекратить навсегда личную полемику!»

Г. Краевский чокнулся с моим бокалом и так же глухо произнес:

– Что ж, я не прочь с своей стороны, если вы…

И затем он подсел ко мне и начал говорить с ожесточением о «Письмах Иногороднего Подписчика», печатавшихся тогда в «Современнике», уверяя, что эти письма и породили полемику между нами и что он, г. Краевский, никакого шутовства, гаерства, никакой сенковщины выносить не может, что он ратует за науку, за искусство и проч.

На другой день Кавелин давал обед в честь Грановского. Г. Краевский, поздоровавшись со всеми, взглянул на меня и отвернулся…

Примирение не удалось…

С этих пор при встречах мы придерживаемся этой методы – то есть отворачиваемся друг от друга.

Грубость г. Краевского была очень досадна Грановскому: самолюбие его было несколько оскорблено его благородною и неудачною попыткою; но он очень смеялся, когда я рассказал ему, что г. Краевский считает гаерством фельетоны Дружинина и что он уверяет, что он так уважает искусство и науку, что никакого шутовства не может переносить в литературе.

В Грановском не было тени педантизма закоренелых ученых, – он, впрочем, и не принадлежал к так называемым ученым в строгом смысле; он был одним из самых талантливых и изящных дилетантов науки. Он не изгонял остроумной шутки из области литературы, не презирал и не преследовал ее, как это делают тупоумные мудрецы; напротив, остроумная пародия, ловкая и забавная шутка очень нравились ему и заставляли его смеяться от всей души.

Кузьма Прутков, которого он прочитывал у меня еще в корректурах, забавлял его целый вечер, он знал наизусть некоторые из его лучших афоризмов и любил повторять их…

Чувство такта и меры в оценке литературных явлении никогда не покидало его. Ему очень нравились, например, «Записки Багрова» С. Т. Аксакова; но когда Аксаков возведен был в литературные патриархи, Грановский смеялся над этим… Через два года, после выхода «Воспоминаний» Аксакова (это было на вечере у Арапетова) Грановский довольно резко остановил П. В. Анненкова, придававшего преувеличенное значение Аксакову.

– В том, – сказал он, – что Аксаков в последнее время обнаружил замечательный талант – об этом никто не спорит, но для чего вы хотите делать из него кумир? Конечно, «Воспоминания» Аксакова повыше «Записок» Жихарева. Аксаков прекрасно владеет языком – это бесспорно, но вы ставите его, господа, на такую недосягаемую высоту, которая вредит ему и делает его смешным.

Беседа Грановского, всегда исполненная тонкого ума, внутренней теплоты, чувства гуманности, симпатии ко всем живым явлениям современности, не имевшая в себе ничего блестящего, но освещенная тихим, ровным поэтическим колоритом, производила всегда отрадное впечатление на его слушателей, возбуждала их привязанность и укрепляла в них сочувствие к нему… Но иногда Грановский, затронутый за живое, являлся в ином, более ярком

свете: в нем проявлялась необыкновенная сила, в глазах загоралась энергия, речь его лилась быстрым потоком и даже принимала не свойственный ему желчный и иронический колорит.

Таким, впрочем, я видел его всего один раз, на квартире у Корша в Петербурге. Это было в последний приезд его в Петербург.

Надобно сказать, что Корш, несмотря на свой колкий ум, быстро схватывавший в других все странное и смешное, имел какое-то пристрастие к Москве и ко всему московскому. Не разделяя вовсе славянофильских воззрений, над которыми он постоянно тешился, Корш жил и дышал только воспоминаниями о Москве. В Петербурге ему было нехорошо, неловко, скучно. Он беспрестанно рвался к Москве и стонал по ней. Этою слабою своею стороною он даже немного надоедал своим приятелям…

Корш имел в Петербурге положение довольно хорошее (он был тогда при редакции «Журнала министерства внутренних дел» и заведывал журналом с тех пор, как Надеждин был разбит параличом); положение его после смерти Надеждина должно было значительно улучшиться, но, несмотря на это, Корш рвался в Москву и охотно готов был бросить Петербург на какие-то московские надежды и фантазии. Это бесило Грановского, который очень любил Корша и принимал глубокое участие в его многочисленном семействе. С сестрой Корша Марьей Федоровной он был связан тесной дружбой.

Я заехал к Коршу нечаянно и нашел у него довольно большое собрание, обычный хвост кружковых петербургских доктринеров, всюду таскавшийся за Грановским во время приездов его. Все сидели за длинным чайным столом. У Корша самовар почти никогда не сходил со стола…

Стоны Корша о Москве и его толки о том, что жить можно приятно и независимо только в Москве, что только в Москве ум, знание, радушие и все возможные добродетели, раздражили Грановского. Он одушевился и начал оспоривать мнение Корша. Начала речи его я не застал…

Когда я взошел в комнату и взглянул на Грановского, я как будто увидел перед собою нового человека или, по крайней мере, совсем преображенного. Внутренний пыл ярко отражался в его благородных, прекрасных чертах, в которых мелькала грустная, но едкая ирония; даже в голосе его была не свойственная ему энергия. Я никогда не слышал, чтоб речь его лилась так звонко, горячо и свободно (Грановский говорил обыкновенно тихо и запинался в разговоре и на кафедре). Я никогда не видал его таким прекрасным и таким вдохновенным, как в эту минуту.

Изредка и вяло прерываемый Коршем, он говорил часа два сряду. Каждое его слово в этот вечер надобно было стенографировать. Он доказывал, что Москва отживает, то великое и неоспоримое значение, которое она имела некогда для России, что, напротив, значение для России Петербурга, в ущерб Москве, обнаруживается с каждым днем более и более и что Петербургу предназначено играть со временем большую роль в судьбах нашего отечества; что русский человек развитый и мыслящий еще несколько свободнее может жить из всей России в одном только Петербурге…

– Если бы не моя привязанность к Московскому университету, – говорил он, – я ни одной минуты не остался бы жить в Москве, – и что такое для меня, для тебя и для всех нас Москва без людей, дорогих нашему сердцу, кровных нам по убеждению, по мысли? Москва дорога мне по одним воспоминаниям об этих людях… С этой барской, пошлой, тупоумной Москвой, представителем которой является Английский клуб; с этой апатичной, ленивой Москвой, которая только спросонья важничает и, как старая баба, хвалится своим древним родом, своими прежними заслугами, толкует по старой памяти о своем умственном превосходстве, нелепо хвастает какою-то будто бы независимостию, которую приобрела она, – с этой Москвою я не могу, не хочу и не должен иметь ничего общего… И какая независимость в Москве? Москва, как все русские провинциальные города, подчинена произволу и прихоти начальствующих лиц. Хороша независимость при Закревском, перед которым все трепещут и который распоряжается всеми нами, как турецкий паша! Всякий произвол и гнет, конечно, тяжел, но прямо идущий от барина он все-таки более сносен, чем произвол холопа, всегда разбивающего себе лоб от

излишнего усердия… Медному холопскому лбу ничего не делается, но каково другим, подчиненным этому медному лбу!.. В Москве могут жить хорошо теперь только люди остановившиеся, обеспеченные, отживающие. Человеку с свежими силами, с неостывшей энергией, с жаждою деятельности – в Москве делать нечего. Такого человека не может удовлетворить одно только бесплодное возвращение к своему прошедшему, эгоистическое наслаждение своими воспоминаниями; ему некогда праздно оглядываться назад, он стремится вперед и вперед… Ему должно казаться нестерпимым это бездеятельное, тупое самодовольствие, в которое погружена Москва. Такое самодовольствие есть несомненный признак отсталости и дряхлости…

Грановский никогда так сильно и резко не высказывал своих убеждений относительно Москвы. Корш был поражен и смущен его словами, которые, однако, не убедили его, а только раздражили: во весь этот вечер он был сам не свой и не отпустил ни одной колкости или остроты…

Могло ли мне прийти в голову, что я не услышу более Грановского, что ужин, который накрывали, был для некоторых из нас последнею, прощальною нашею трапезою с Грановским перед вечной разлукой?..

Вино как-то не пилось, Грановский был в волнении после своего разговора, Корш не в духе, все чувствовали невольно какую-то безотчетную грусть…

Грановский после ужина долго говорил с Марьей Федоровной в стороне… Наконец обнял всех и простился…

На другой день с первым поездом железной дороги Грановский уехал в Москву…

Это было в конце февраля 1855 года (если я не ошибаюсь), а 4 октября этого же года Грановского не стало…

Больная жена его, дни которой давно уже были сочтены, имела несчастие пережить его, но ненадолго…

В течение пятнадцати лет (с 1839 по 1855) Грановский боролся на кафедре с различными препятствиями, с величайшим трудом проводя независимую мысль, одушевлявшую его. Он носил в душе глубокий протест против старого порядка, грозно поддерживавшегося одной физической силой, и несмотря на то, что этот протест выражался в его лекциях и в его статьях в свойственных его характеру формах, деликатных и мягких, – влияние его на молодое поколение все-таки было очень сильно…

…В минуты безвыходного отчаяния Грановский говорил: «Благо Белинскому, умершему во-время!»– «Сердце ноет при мысли, чем мы были прежде и чем стали теперь!»

Падая духом, охладевая к своим трудам и обязанностям, он хотел заглушать свои внутренние страдания, как мы видели, бурной жизнию игрока; но его чистая, благородная натура спасала его… и он измученный, разбитый, надломленный возвращался снова к своему долгу, говоря: «ведь еще кое-что можно делать»…

Но эта борьба, но эти страдания, доводившие его до отчаяния и падения, сокрушили его и без того непрочное здоровье и ускорили его кончину. Еще будучи в Берлине, в конце тридцатых годов, он жаловался, впрочем, на боль в груди.[9]

Горькая насмешка судьбы!.. Грановский умирает именно в ту самую минуту, когда надежда на лучшее будущее вдруг одушевила всех и возбудила в нем умственную деятельность и энергию. По уверению друзей его, никогда он не порывался так трудиться на общую пользу и в особенности на пользу образования, как последний (1855) год своей жизни. Возвратясь осенью в Москву из деревни вдовы Фроловой, он с горячностию взялся за мысль о периодическом издании «Литературно-исторического сборника», в котором, кроме

исторических исследований, должны были помещаться статьи литературные и политические… Грановский замышлял ряд статей о своей науке под названием «Исторических писем». Программа сборника была готова, и он хотел ехать в Петербург, чтобы исходатайствовать разрешение этого издания… Смерть вдруг останавливает его порывы.

От Грановского осталось немного: исторические монографии, писанные им на ученые степени, очерки и характеристики, журнальные критические статейки и рецензии. Все это имеет более литературного, чем строго ученого достоинства. Грановский, конечно, мастерски владел языком, и фраза его отличается простотою, ясностию, сжатостию и изящностию, но по одним сочинениям Грановского, не представляющим ничего особенного, никак нельзя объяснить, почему имя его приобрело такое значение, почему возбуждал он такой энтузиазм при жизни и отчего такая благоговейная любовь сохраняется некоторыми к его памяти?

Объяснить это для тех, которые не знали Грановского, почти невозможно. Только те, кто слушали его лекции, видели его в дружеском кружке, пользовались его советами, беседовали с ним, могут засвидетельствовать, что влияние его было действительно велико, что личность его была в высшей степени симпатична я обаятельна и что его значение не преувеличено его друзьями, как это теперь предполагают многие…

…В одном из своих сочинений Грановский говорит, что в переходные эпохи всегда особенно выдаются два типа:

«1) Люди с гордой и самонадеянной силой, идущие смело вперед, не спотыкаясь о развалины прошедшего, с чутким слухом и зорким оком. Сердца их не отзываются на звуки былого. За ними всегда остается право победы.

2) Люди, в которых воплощается вся красота и достоинство отходящего времени. Они лучшие его представители и доблестные защитники».

Грановский стоял как бы примирителем между теми и другими, сочувствуя более первым, но относясь к ним как историк с одинаковым беспристрастием. С своим глубоким, врожденным чувством изящного, он не мог не останавливаться перед красотою прошедшего, не мог не отзываться, и даже с любовью, на былые звуки, но мысль его вся была устремлена к будущему, и, не чувствуя в себе разрушающей силы первых, он понимал необходимость их и в полном сочувствии к ним благословлял их на великий подвиг…

Примечания

8. См. подробности об этом в книге г. Анненкова о Станкевиче.

9. Это видно из писем к Грановскому Станкевича, помещенных г. Анненковым в его биографии Станкевича.